

Н-457 с.ч.



2649/57

Из фронтовой жизни

В. ИЛЬЕНКОВ

СИЛА ИДЕИ



ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ
МОСКВА—1945

НОРЯ ЦЕНА

Руб. 25 коп.

К ЧИТАТЕЛЯМ

**Издательство просит присылать
отзывы на эту книгу по адресу:**

Москва, Орликов пер., 3

Воениздат

V.N. Karazin Kharkiv National University



01144414

1

1) 8(11)

2) 32/89



СИЛА ИДЕИ

Гвардейская рота только что отбила тринадцатую контратаку немцев. Измученные люди отдыхали на дне траншей, и лица у них были изжёлта-серые, как опавшие листья. Все были удручены вестью о том, что командир роты тяжело ранен. Его любили, — с ним рота давно не знала поражений.

Всё было прекрасно в этом человеке: и сильный голос, ободрявший в самую тяжкую минуту боя, и широкая грудь, увешанная орденами, и заботливое о солдате сердце. Ближе всем было и горе командира: семью его немцы угнали в Германию, и он торопился скорей достигнуть границ ненавистой страны, но именно в тот день, когда вдали показалась остроконечная вышка крехи

ПРОВЕРЕНО
ЦНБ 1945

ПРОВЕРЕНО
ЦНБ 1945

2649/5pr

с железным петухом, осколок мины раздробил командиру бедро.

— Осиротели мы, ребята, — сказал бронебойщик Камушкин, который, как и многие, верил, что все удачи этого дня зависели прежде всего от командира.

Сержант Захар Суровцев осуждающе посмотрел на него. Завидев идущего по траншее незнакомого офицера в сопровождении адъютанта командира батальона, он сказал:

— Наверное, новый наш ротный.

— Ну вот, товарищ Суровцев, это ваш ротный командир лейтенант Воронов, — сказал адъютант.

Воронов был высок, чуть сутуловат, с добрыми карими глазами и юношески свежим лицом. «Он еще не бреется», — подумал Суровцев, разглядывая темный нежный пух на верхней губе лейтенанта. На груди его не было ни одной награды, ни одной нашивки ранения, и когда он о чем-нибудь спрашивал, голос его звучал мягко, тихо, как-то домашнему.

— Давно воюете, товарищ сержант? — спросил Воронов.

— Четвёртый год, товарищ лейтенант, — с гордостью ответил Суровцев, расправляя усы, придавая своему лицу выражение строгое и независимое.

— Нашивок по ранению у вас столько, что и не сосчитаешь...

— Шесть, товарищ лейтенант. Во мне семьдесят пять процентов крови осталось.

— Не крови, а, вероятно, гемоглобина? Это немало! — улыбнулся Воронов.

— Да, неплохо. Я от самого Смоленска, как начал воевать, так всё и иду пешком сквозь всю Россию.

— Люди обедали?

— Нет ещё.

— Ну, это не годится, — сказал Воронов и быстро пошёл по траншее к укрытию, где был командный пункт.

Вскоре принесли термос с гороховым супом, но только стали разливать в котелки, как вдали послышался характерный железный глухой гул, — начиналась новая контратака, и все бросились на свои места.

Из берёзовой рощи вырвался на поляну огромный танк и, стреляя на ходу из пушки и пулемётов, устремился на траншею. Камушкин выстрелил по нему, но танк продолжал идти, он уже был в двадцати шагах от траншеи, и тогда Захар Суровцев швырнул под гусеницу противотанковую гранату, а сам плюхнулся на дно траншеи, зажав глаза; ему казалось, что он промахнулся и танк накроет сейчас его своей тяжестью и раздавит... Но танк беспомощно крутился на одном месте, и Камушкин успел зажечь его баки с горючим. Приподнявшись, Суровцев увидел множество немцев, бежавших от берёзовой рощи к траншее, они кричали что-то, визжали и вопили. Их было раза в два больше, чем гвардейцев, уцелевших после тринадцати контратак, и немцы, уверенные в том, что

теперь-то они ворвутся в траншеи, бежали с воплями.

Вот тогда Захар Суровцев услышал протяжно-певучий чистый голос Воронова:

— Впере-о-од!!! Взять эту пада-аль... на штыки!!

Нужно кому-то первому нарушить то оцепенение, которое сковывает руки и ноги, пригвозждает к земле, когда видишь бегущих на тебя с широкими ножами, с ощеренной пастью, с мутными от ярости и пьянства глазами. Нужно большое усилие, чтобы оторваться от земли и броситься вперед, на блестящие эти ножи. Нужно отрешиться от себя, от своего тела, от всех чувств, кроме одного — чувства долга, от всех мыслей, кроме одной: «вперед!» И Захар Суровцев, услышав позади голос Воронова, прозвучавший повелительно, но как-то сердечно и неотразимо убеждающе, первый выскочил из траншеи и с криком «ура» побежал навстречу немцам, и за ним побежали все...

Всё это произошло в течение каких-нибудь десяти минут, но минуты эти равны годам, и Захар Суровцев вернулся в траншею с белой прядью в густых черных волосах. Гороховый суп ещё не остыл. Достали ложки.

Воронов снимал гимнастёрку, вскинув кверху руки. Нижняя трикотажная рубашка была порвана на локте и вся мокрая.

— А чего же он вспотел-то? — спросил Суровцев.

— Как чего? Чай, с нами вместе бежал на штыки. Не видал, что ль? — удивился Камушкин.

Нет, Суровцев ничего не видел. Он кричал и колот до тех пор, пока не почувствовал, что штык его увяз в чем-то твердом, а в это время здоровенный немец вскинул над его головой приклад, и Суровцев, почувствовав, что не успеет выдернуть свой штык, чтоб отразить удар, нагнул голову, но тут кто-то ударил немца штыком, и приклад лишь слегка скользнул по каске Захара...

— Это же ротный ударил! — восторженно воскликнул Камушкин. — Мне-то со стороны всё было видно. Ударил он, а тут на него двое наскочили... Он пырнул одного, а другой, страшно, что ль, ему стало, как пошел чесать по полянке! Чисто заяц!

Воронов скинул рубашку, и Захар увидел кровь на руке выше локтя. «Вот она, нашивка-то», — подумал он с уважением и подбежал к командиру.

— Дайте-ка я перевяжу, — сказал он и, вынув из мешка чистую рубаху, которую он берёт на «последний случай», начал разрывать её на полосы, — бинты давно были израсходованы. Перевязывая Воронова, Захар увидел на теле его много больших и мелких старых рубцов: одни были синеватого, другие какого-то сиреневого цвета, а самый большой — от ключицы до соска — темно-красный с белыми пятнышками шва.

— Вот они где, ваши орденские ленточки... Спасибо вам, товарищ лейтенант. — растроганно сказал Захар.

— Это за что же?

— Жизнь вы сейчас спасли мне... Ежели бы не выручили — пропадать...

— Вот что, товарищ Суровцев... Вы со своим взводом продвиньтесь к опушке роши. Лежите скрытно, а как они пойдут в контратаку, пропустите и бейте сзади, чтоб ни один живой не ушёл. Понятно?

— Понятно, товарищ лейтенант, — ответил Суровцев, испытывая радостное чувство готовности исполнить всё, что прикажет ему этот человек с тихим голосом и добрыми карими глазами.

Не успел Суровцев со своим взводом укрыться в кустах, окаймлявших рошу, как послышалось урчанье танков. Они выползли из роши на поляну и, набирая скорость, ринулись на траншею, а позади, трусливо прижимаясь к машинам, бежали немцы, прыгая через трупы в серо-зеленых мундирах. Два танка, подбитые бронебойщиками, остановились, не дойдя до траншей, из которых с криком «ура» уже выскочили гвардейцы, сверкая штыками. Немцы повернули назад, но от роши бежали навстречу им гвардейцы Суровцева, и немцы, поняв, что попали в ловушку, остановились и, бросив оружие, подняли вверх руки...

Солнце опустилось за рошу, всё вокруг потускнело, и сразу повеяло тем острым холодком, который в сентябрьские вечера появляется тотчас же, как только солнце уходит с неба. И вдруг между стволами берёз, посеченных артиллерией, пробился

луч солнца, лёг на поляну светлой дорожкой и осветил молоденький клён. Красновато-жёлтая листва его вспыхнула, как факел, и будто светлей стало вокруг.

Суровцев изумленно смотрел на деревцо, которого не замечал раньше, хотя рядом с ним провёл целый день; было непостижимо, как оно могло уцелеть на этом поле смерти, где плавилось и горело железо. И он сказал тихим, приглушённым от волнения голосом, будто доверял сокровенную тайну:

— Теперь, ежели поглядеть, сколько лесов порублено немцами! Идёшь по земле, и сердце болит...

— Каждый со своей болью идёт,— сказал Воронов.

— Видать, и вам немец в печёнки въелся, товарищ лейтенант,— заметил Камушкин. — Очень у вас против них злость большая...

— Из чего же это видно? — с улыбкой спросил Воронов.

— А давеча, как на штыки пошли, видал я, как вы пырнули одного... Я так считаю, их ни одного не надо щадить, всем один расчёт!

— Сильно пострадали от немцев?

— Невесту мою угнали в Германию,— глухо ответил Камушкин. — На весь наш район была одна такая красавица... Со всей области к ней приезжали свататься... Двадцать семь женихов отвергла, товарищ лейтенант, а за меня согласилась.

— А нашу деревню дотла спалили. Жена с детишками в лесу три года жила в пещере,— перебил его Захар Суровцев.— Жена пишет: младшего, Сережу, схоронила, а девочка заикается сильно, с испугу приключилось...

— И ваших родственников обидели? — спросил Камушкин лейтенанта.

— Нет, моя семья не пострадала. В Сибири живут,— ответил Воронов с заметным смущением, словно ему было неловко признаться в этом.

— А-а,— разочарованно протянул Камушкин.— И невеста там имеется?

— И невеста,— тихо сказал Воронов.

Помолчали. Луч, освещавший клён, погас, и там, где стояло деревцо, осталось лишь мутное желтое пятно.

— Все-таки из-за немца пришлось вам, товарищ лейтенант, лишиться хорошей жизни, семью бросили... На войну вот вас взяли. Как не злобиться? — сказал Захар Суровцев.

— Я добровольно вступил в армию.

— Стало быть, такой уж у вас характер от рождения, чтоб воевать. От папаши или от деда в кровь перешло? — спросил Камушкин.

— Нет, ни отец мой, ни дед на войне не бывали, а сам я характером тихий... Всё больше книжками интересовался, понять хотел: для чего человек живёт на земле? По-разному писали в книгах, но мне больше всего понравилась такая мысль: «Человек создан для счастья, как птица для полёта».

А что такое счастье? И на этот вопрос люди по-разному отвечали мне. Отец мой на золотом прииске работал, он так говорил: «Счастье — это вот как крупинка золота: чтобы её найти, нужно целую гору земли лопатой, своими руками перекидать да промыть. Счастье — это награда за тяжкий труд, и пусть она будет, как крупинка, маленькая, а её на всю жизнь хватит».

Воронов умолк, прислушиваясь к жёсткому шороху листьев за кустами, правой рукой привычно касаясь потёртой кобуры. Из-за кустов вышел низенький, щуплый ефрейтор, огляделся, увидел Воронова, и лицо его как-то передёрнулось, а глаза раскрылись широко и удивлённо. Вытянувшись по уставу, он проговорил отчётливой скороговоркой:

— Товарищ лейтенант! Ефрейтор Трубников прибыл в ваше распоряжение с командой пополнения в составе сорок восемь рядовых и один ефрейтор! — Выпаливши это одним духом, он порывисто вздохнул, и по лицу его расплылась блаженная улыбка, словно он пришёл в родной дом: — Иван Степанович! Товарищ лейтенант! Опять я к вам попал... Я уж, извините, посчитал, что вы померли по причине ранения... Я тот раз и папаше вашему отписал, что так, мол, и так...

— Рано ты меня схоронил, товарищ Трубников, — Воронов дружески пожал его руку. — Ну, пойдём, посмотрим, кого ты к нам привёл.

Они ушли, а через полчаса, поужинав, люди окружили Трубникова, и он вот что рассказал им:

— Мы с ним с одного прииска, с Незаметного. Папаша его Степан Егорыч мне двоюродным дядей доводится... А с Иваном Степаничем мы в школу вместе бегали и в пионеры записывались. Бывало, задачка не выходит — к нему, всегда покажет, а уж на улице никогда тебя в обиду не даст, и постоянно вокруг него увивалась всякая мошкарa подзащитная. Что ни спроси — знает, какую книгу — ни назови — читал! Ну, и стало ему тесно на приiske. Мальчонкой ещё ушёл из родительского дома по свету бродить. Сперва на Дальний Восток подался, а как Комсомольск построили, он метро в Москве строил и заводы разные, — и куда ни приедет — всюду желанный гость. Вот это-то ему и нравилось, что везде он, как дома, каждый кирпич свой узнает, каждое дерево посаженное... Домой только перед самой войной заявился. Отец спрашивает его: «Ну, хвались, какие домой капиталы принёс?» А Иван Степанич вынул из мешка книгу толстую, — год читать, не одолеешь, — и говорит: «Вот мой капитал». Степан Егорыч очки надел. «Дорогая?» — спрашивает. «Шесть с полтиной всего, но книга такая, что ей цены нет, потому что в ней всё сказано: и откуда взяло свою силу золото, и откуда появились на свете богатые и бедные, и как перевернуть весь мир, чтобы человек жил лучше». Степан Егорыч ему говорит: «Ты бы, Ваня, лучше оженился, ведь невеста-то ждёт». А он ему от-

вечает: «Время теперь беспокойное, для свадьбы неподходящее: не миновать нам с фашистами воевать. Как поётся в солдатской песенке: «Наши жёны — ружья заряжены, вот где наши жёны...» Поеду в военное училище». — «Год же твой ещё не на призыве», — говорит отец. — «Меня не военкомат призывает в армию, большевистская партия, в которой я состою членом, — значит, я там нужней». И ещё сказал: «Должен я, — говорит, — свою идею защищать...»

— А что она за штука такая, идея эта? — спросил Камушкин.

— Она будет вроде... как бы, — начал Трубников, но замаялся и растерянно глянул на небо, по которому плыло бледно-лиловое облачко.

— Проще сказать, как план на бумаге или чертеж, — заговорил Захар Суровцев, расправляя усы. — Допустим, дом надо выстроить. Сперва надо все распланировать, как людям удобней жить, чтобы и воздуху на всех хватало, и тесноты не было, и сколько окон надо прорубить, чтоб солнышко человеку со всех сторон светило. Вот инженер все это на чертеже расчертит, а по этому чертежу, по идее, то-есть, и дом начинают строить...

— Точно! — обрадованно подхватил Трубников. — И у Ивана Степановича свой, значит, план правильной жизни, чтоб весело да вольготно жилось людям на земле. И пошел он свою идею жизни защищать от фашистов... Нагнал я его

уже под Киевом. Сильно он был ранен, думал — не выживет. А теперь опять встретились...

Рассказ Трубникова был прерван появлением Воронова. Он был чем-то возбуждён. Вызвав к себе командиров взводов, он сказал:

— Получен приказ на рассвете занять это немецкое село,— и протянул руку, указывая на черневший вдали шпиль кирхи.

— Люди сильно притомились, товарищ лейтенант, — заметил Суровцев.

Воронов промолчал. Он сам видел это, но нужно было наступать. Закурив, он подошёл к бойцам, которые сидели под плащ-палатками, похожие на угрюмо нахохлившихся птиц, усталых от полёта.

— Сейчас говорил со штабом полка... Там допрашивали взятых нами вчера пленных, — с усмешкой начал он, интригуя растягивая слова. — Во-от.... Так они показывают, что у них есть приказ... Да, приказ не пускать в Германию советских людей... Слово от них зависит: пустить нас или не пустить?! Ну, и боятся же они нас! — он расхохотался, закашлялся и, вытирая слезы, проговорил прерывистым от смеха голосом:

— А-а... взяло кота поперёк живота!

Веселое настроение его передалось бойцам, — лица их посветлели, послышался смех, а Камушкин отпустил такое крепкое словечко, что все захохотали, громко, облегчённо, вкладывая в смех ощущение своей силы.



НА ТОТ БЕРЕГ

Много дней капитан Казанцев пробивался со своим батальоном сквозь густые леса и вражеские заграждения, шаг за шагом приближаясь к родному городу. Батальон шёл в авангарде дивизии, прокладывая ей путь через болота и реки, через лесные завалы и минные поля.

Нелёгкий это был путь, но капитан Казанцев безостановочно двигался вперёд. Чем скорее он войдёт в родной город, тем больше надежды увидеть близких-близких людей. С радостным нетерпением и тревогой вглядывался он в горизонт, затянутый сизым дымом, и всё думал о Наташе и маленькой Веруське, думал о них, отдавая приказания командирам рот, думал, механически

разжёвывая сухарь на ходу, покачиваясь от усталости, думал даже в коротком сонном забытье.

Они были совсем близко. Ночью Казанцев перешёл речонку Снежку, куда приходил он с Наташей и Веруськой в праздник, чтобы посидеть на песчаном берегу. Речонка была мелкая, а вода в ней светлая, быстрая, и хорошо было слушать её неугомонное журчание, похожее на детский лепет... И теперь, переходя речку вброд, Казанцев с волнением вслушивался в журчание тёмной воды, бурлившей под ногами. Снежка раздулась от непрерывных дождей, пришлось войти в воду по горло, и, хотя была осень, Казанцев не почувствовал ледяного ожога, — тело давно привыкло подавлять боль, ощущение холода, голода. Но ничем нельзя было унять боль души. Ни на минуту не утихала она в течение двух лет мучительной разлуки, и только теперь, будто остуженная холодной водой Снежки, притупилась, умокла, уступив место тревожной радости ожидания.

Они были совсем близко... Пройти пойму Десны, чуть левей железнодорожной насыпи, а дальше — река, и за ней, на взгорье, круто поднимается, как лестница на крышу, знакомая улица с кирпичными ступенями тротуара, а на самой вершине откоса — маленький домик с тремя окнами, обращёнными к раздолью широкой поймы. Было темно, но капитан Казанцев видел свой дом и, протянув в темноту руку, показывал его адъютанту.

— Вот там, где вспышки орудия... Зелёная крыша и рядом тополь... высокий, старый тополь, и весной, когда распускаются почки, кругом стоит такой запах, что с ума сойти можно... А в июне с этого тополя падает белый пух, и тогда этот пух везде — и в волосах, и на полу, и в стакане чая... А Веруська кричит: «Снег! Снег!»...

Адъютант не видел ни дома, ни тополя, ни зелёной железной крыши. Он слышал хрипловатый, всегда жёсткий голос капитана, зазвучавший вдруг нежно и ласково.

— Товарищ лейтенант, проверьте готовность людей к атаке, — вдруг снова прежним тоном проговорил капитан, словно устыдившись прорвавшихся из сердца слов. — И как там... нащупали броды?

Адъютант побежал в роты, затерянные в предрассветной мгле. Это был удивительно быстроногий и говорливый человек; он успел побывать всюду, всё разглядеть и всем рассказать о домике под зелёной крышей, о тополе и маленькой Веруське, и бойцы, прижавшиеся к холодной земле в ожидании атаки, увидели домик особым зрением своего сердца: у одного домик был накрыт соломой, у другого — оранжевой черепицей, у третьего — тоже железом, у четвёртого возле домика — не тополь, а кривая берёза, у пятого была не Веруська, а Нинка, а у шестого не было ни дома, ни дерева, ни ребёнка; он уже прошёл через свою деревню, как по чи-

стому полю, но и этот, шестой, увидел сейчас дом свой о двух окнах, обращённых в поле...

Над рекой вспыхивали ракеты, и Казанцев увидел, что Десна от дождей раздвинулась, подступила к самому базару, — значит, никаких бродов нет. Это подтвердил и человек, которого адъютант привёл с собой; в темноте не было видно его лица, а голос шёл откуда-то снизу, и капитан понял, что человек мал ростом.

— Разгулялась река вон как... Кабы лодки. И лодка у меня была, да и ту немцы уволокли на тот берег... И как теперь в город попасть, не придумаю... Ах, ты, беда!

И пока он охал и сетовал, Казанцев припомнил, что маленький человечек этот жил в светлой, аккуратной избушке на этом берегу и всегда продавал на базаре рыбу; припомнилось даже, что у этого рыбака на щеке бородавка, поросшая черными волосками.

— А изба твоя цела? — спросил капитан, думая о том, что до артиллерийской подготовки осталось не больше часа.

— Цела, родной... Уж какие страсти тут были, а устояла... А тут и вы подоспели. Теперь я житель! — весело сказал человек. — Изба главное дело, товарищ...

— Это верно, без крова трудно жить человеку, а они, дьяволы, дома вон жгут, — со злобой и тоской проговорил Казанцев, глядя на зарево, осветившее небо.

— А застрянем на этом берегу, они и последние домишки спалют...

— Как же теперь быть-то? — озабоченно размышлял вслух человек. — Место кругом голое. Одна моя изба осталась... — Голос его испуганно дрогнул и оборвался.

А напугала мысль, что переправиться на тот берег можно лишь единственным способом — разобрав избу на брёвна. Но ему было жаль домика, и человек молчал, потому что трудно выговаривать слова жалости людям, которые пришли, чтобы спасти его, жену его и детишек и тех, кто на том берегу. Как сказать: «Нет, братцы, жалко. Не дам»? Сказать это людям, которые не пожалели для него своей жизни, своих домов и детей, покинули всё, что дорого человеку? И он молчал, а дышал неровно и шумно, словно поднимал непосильную тяжесть, и вдруг будто рывком, через силу вскинув её на плечи, облегчённо сказал:

— Разбирайте мою избу.

— Как твоя фамилия? — спросил Казанцев.

— Вахромеев Денис.

— Спасибо, товарищ Вахромеев!

И когда весело, как вешний гром, раздался слитный удар множества пушек, батальон капитана Казанцева поплыл через Десну на избе Дениса Вахромеева, а он стоял на берегу и кричал бойцам, уцепившимся за брёвна:

— Брёвна-то... брёвна на берег вытащите! Не унесло бы!

И хотя кругом творился сущий ад — рвались снаряды, над рекой вставали водяные столбы, вода кипела, захлестывала плывущих, — они гребли одной рукой, а другой обнимали бревно, болтали ногами, барахтались, но плыли, выплёвывая набравшуюся в рот воду, взмахивая окоченевшей рукой... Казанцев плыл, придерживаясь рукой за бревно, и адъютант, фыркая, мотая головой, что-то бормотал рядом, — он умел быстро бегать, но плавал плохо, а скользкое бревно вертелось, норовило вырваться, ныряло и несло куда-то в кипящей воде.

Но уже закричали простуженными голосами «ура» те, кто выбрался на правый берег, и возле фанерных киосков базара застучал «максим», каким-то чудом переплывший реку. «Ура» становилось всё громче, гуще, откатываясь от реки к улице, идущей на взгорье, и, будто поднимаясь по каменным ступеням тротуаров, звучало всё выше и выше, захватывая вершину горы. Туда спешил капитан Казанцев — к домику с тремя скнами, обращёнными к Десне.

С одежды его струилась вода, чавкала в сапогах, капала с подбородка и ещё стояла в ушах. Он почти вбежал на гору. Тополь простирал над зелёной крышей свои узловатые ветви. Сорванная с петель дверь валялась на земле, окна были раскрыты, и Казанцев остановился, не в силах переступить через порог.

«Да ведь они же где-нибудь в подвале», — подумал он и вошёл в дом.

В пустых комнатах осенний ветер гонял обрывки бумаги, и жёлтые, сухие листья тополя с шуршаньем переползали из угла в угол... Казанцев вышел и опустился на ступени крыльца, чтобы не упасть.

Так он сидел в оцепенении, потрясённый одной мыслью: «их нет»...

Чья-то рука тронула его за плечо, он вздрогнул и узнал соседку Марью Петровну. Она жалостливо смотрела на него, вытирая слёзы.

— Голубчик ты мой, Иван Алексеевич! Неделькой бы поране, и застал бы Наташеньку... Угнали, ироды! Всех угнали... Взяла она Верочку за ручку и пошла... Может, где и недалеко, да разве найдешь теперь? Насквозь мокрый ты. Снимай-ка гимнастёрку, я высушу... Дрожишь весь, простудишься... Печь растоплю, самоварчик взогрею...

Озноб сотрясал всё тело Казанцева, и ничем нельзя было согреть его — ни пламенем, ни кипятком, — озноб шёл откуда-то изнутри. Казанцев быстро поднялся с крыльца и пошёл, всё ускоряя шаги, — теперь ему хотелось быть вдали от того, что напоминало о любимых, потерянных людях.

Бой шёл уже за городом, и связной от штаба полка принёс приказание: преследовать противника, не давая ему опомниться. Казанцев повёл батальон дальше.

— А как же дом-то? Семья? — спросил адъютант, выжимая на ходу гимнастёрку.

— Там... Всё там... впереди,— глухо проговорил капитан, шагая всё быстрее и быстрее.

Ему казалось, что если идти вот так — не дышая, не теряя времени, то можно ещё догнать Наташу с Веруськой. Ведь если бы он шёл побыстрее, то застал бы их в городе, но он опоздал, и только он виноват в том, что их угнали.

«Догнать... Догнать!» — неотвязно стояло в мозгу. Казанцев выбрасывал вперёд и по сторонам группы бойцов, чтобы заходить в тыл врага и отсекал ему пути отхода. Через два дня отбили много жителей, которых немцы угоняли с собой.

Казанцев взволнованно вглядывался в каждую женскую фигуру, в каждого ребёнка, расспрашивал, указывал приметы, но никто ничего не мог сказать ему, потому что из города их выгнали немцы только три дня назад, а Наташу с Веруськой — раньше на четыре дня.

Но то, что удалось отбить у врага жителей, снова возвратило Казанцеву надежду — от Наташи и Веруськи его отделяли теперь только четыре дня. Казанцев шёл со своим батальоном, выбивая немцев со всех рубежей и укреплений, не останавливаясь ни на один час, захватывая пленных, отбивая толпы жителей, угоняемых на каторгу. Но среди них не было ни дочери, ни жены. Осколком мины ранило Казанцева в руку. Он хотел остаться, но кровь не унималась, и командир полка приказал отвести его в госпиталь. Осколок вынули, крепко забинтовали руку, уложили

Казанцева в постель и предписали полный покой. Казанцев всю ночь не мог уснуть, ворочался, курил и думал всё об одном...

Утром дежурная сестра доложила начальнику госпиталя, что капитан Казанцев исчез. Пока в госпитале писали об этом рапорт начальству, Казанцев уже догнал свой батальон на грузовике, подвозившем патроны.

— Жителей отбивали? — спросил он.

— Отбивали, — ответил адъютант, — но я всех опрашивал... Нет ваших, товарищ капитан. Но говорят, что впереди много должно быть городских жителей...

Адъютанту никто не говорил этого, но ему было жалко Казанцева, и он решил приврать, чтобы дать человеку надежду, потому что без надежды трудно жить на войне. Казанцев поверил, потому что ему нужно было верить в то, что Наташа и Веруська впереди, на линии движения батальона.

С этой верой он переплыл Днепр со своим батальоном, но и там не нашёл их. Он нередко освобождал угоняемых немцами, но среди них не было ни одного жителя Брянска, и батальон ушёл вперёд так далеко, что трудно было даже предположить, чтобы кто-нибудь из жителей Брянска дошёл до этих мест, а может быть, их повернули в другую сторону.

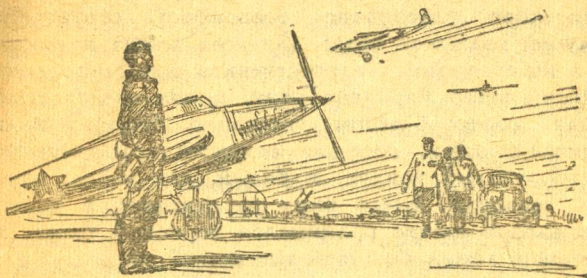
Дивизию перебрасывали с одного участка фронта на другой, и Казанцев очутился совсем в стороне от линии на запад, — он шёл теперь прямо на юг, и, хотя ни один день не переставал

думать о Наташе и дочери, надежда на встречу с ними всё больше и больше таяла. А когда бойцы его батальона, прорвавшись через Перекоп, вступили на крымскую землю и Казанцев однажды утром увидел голубую даль моря, слёзы заволокли его глаза, потому что дальше пока идти было некуда.

Вошли в Евпаторию. Казанцев пришёл к морю и устало опустился на камень. С тихим плеском накатывались волны, шурша по песку, и в этих звуках была печаль, и Казанцев, примиряясь с ней, уже спокойней думал о том, что на великом пути до моря он сделал всё, что было в его силах, что множество людей, которых он освободил от каторги, — пусть незнакомых ему, — в этот час вспоминают капитана Казанцева и его батальон, что таков закон жизни: подобно Вахромееву, кто-то должен пожертвовать своим домом, чтобы на брёвнах его люди могли перебраться на берег своего счастья...

И вспомнив, как предусмотрительный Вахромеев кричал бойцам, чтобы они вытащили его брёвна на берег, — он хотел снова собрать свой дом, — Казанцев невольно улыбнулся.

— Соберём... Всю нашу жизнь по брёвнышку соберём, товарищ Вахромеев, — прошептал Казанцев, глядя на лазурный свод неба, выгнувшийся над морем, как крыша гигантского дома.



СЧАСТЬЕ

«Навсегда... Навсегда...», — угнетённо думал Алексей Петрусьев, разглядывая одеяло, плоско, как на доске, лежавшее на его ногах. Вот уже полгода, как он лежит и смотрит в одну точку и думает одну и ту же неотвязную думу: как жить без ног?

В открытое окно доносился шум большого города, шум неумолкающего движения. По тротуару проходили люди, и слышно было, как весело стучат каблуки по асфальту. Счастливые!.. Бежали дети из школы, перегоняя друг друга. Счастливые!..

Петрусьев закрыл глаза и увидел себя на пристани родного Камышина. Сюда прибегал он после уроков и, закинув удочку, погружался в

блаженное созерцание бесконечно струящейся голубой волжской воды. Алексея всегда изумляло это неистощимое, величественное движение реки. Лёгкий ветер бороздил воду, и она сверкала, отвечая солнцу блеском неустанно бегущих волн. Кричали чайки, рассекая острыми крыльями упругий, тёплый воздух, и белый, как чайка, пароход беззвучно плыл вниз по течению, а далеко в опаловой дымке поднимался гористый берег, за которым лежал большой неведомый мир.

И не было ничего прекрасней в мире, чем эта могучая, широкая, сверкающая река. Но однажды над Волгой появился самолёт. Он прилетел с того берега, пронёсся над водой, взмыл в облака и стал кувыряться, выписывая на голубом небе петлю за петлей. Он с рёвом набирал высоту, задрал нос кверху, потом умолкал и, опрокинувшись на спину, валился вниз, молча, беспомощно, словно от безмерной усталости, и сердце Алексея замирало в страхе, восторге и зависти к человеку, обрётшему крылья. Он не видел, как окунь дёрнул поплавок и потащил его в глубину. Он не видел ни Волги, ни парохода, причалившего к пристани, ни людей, шумной толпой хлынувших на берег. Он не слышал ни рёва сирены, ни колокола, ни криков людей... Он видел лишь самолёт, кувыркавшийся в небе, и слышал лишь его захлебывающийся, радостный вой.

Нет, неправда, что счастье лишь в том, что имеешь. Оно в том, чего ещё нет у тебя, в страстном его ожидании, в движении навстречу

своей мечте... С этого дня Алексей перестал ходить на Волгу. Он всё смотрел в небо, и мать, покачивая головой, говорила:

— Что-то наш Алёшка от земли отвернулся. Алексей действительно отвернулся от земли. Она казалась ему скучной, движение в реке слишком медленным, чайки жалкими, а пароходы были просто смешны. Так и жил Алексей, устремив глаза к небу, и даже когда стал токарем по металлу, в гудении станков и грое железа слышал всё тот же радостный рёв мотора и поднимал глаза кверху, чтобы взглянуть на кусочек голубого неба, видневшийся в разбитом стеклянном фонаре крыши.

— На что жалуетесь? — спросил врач, когда Алексей предстал перед ним, как античная статуя.

— Я здоров. Мне нужно удостоверение для поступления в лётную школу.

Врач любовался его красиво и могуче сложенной фигурой, мускулами, налитыми железной силой, но стучал молоточком, мял, тискал, заставляя приседать, отсчитывал пульс и вдруг, строго глядя в тёмнокарие глаза Алексея, спросил:

— Ревматизмом болели?

— Немного болели ноги. Судороги были, а потом прошло, — солгал Алексей и, почувствовав, что врач не верит ему, покраснел.

— Летать вам нельзя, юноша. Что будет с вами, если в полёте вам сведёт судорогой ногу? Живите на земле, юноша. Здесь безопасней.

Алексей пошёл к другому врачу, но и того не удалось обмануть. Он ходил по врачебным комиссиям, демонстрировал свои мускулы, но врачи приказывали ему жить на земле. Алексей обратился за помощью в комсомол, а там сказали:

— Врачам видней, а если тебе надоело в Камышине, то поезжай на Амур строить новый город Комсомольск. Кстати, там чудесный климат, и ты вылечишь свой ревматизм.

Алексей уехал на Дальний Восток. Он копал землю под фундаменты огромных домов, заводов, клубов, и тело его ещё больше окрепло, грудь раздалась шире, развернулись плечи, и кровь густым румянцем пробивалась сквозь смуглую кожу загорелого лица. И когда Алексей снова предстал перед врачами, чтобы получить удостоверение на право летать, никто не оспаривал этого права. Алексей работал и в свободное время посещал аэроклуб. Наступил день его счастья. Он самостоятельно взлетел на У-2, и этот медленный, как волжский пароход, самолётик показался ему пределом его мечты.

Нет, неправда, что счастье только в том, что имеешь. Когда Алексей увидел мелькавший в облаках истребитель, он отвернулся от своего тихоходного самолётика. Он любовался крутыми виражами истребителя, стремительным его подъёмом в небесную гору, молниеносным падением к земле, и когда истребитель, превратившись в серебряный крестик, растаял в воздушной синеве, он сказал себе:

— Вот, Алёшка, где твое настоящее счастье.

И он пересел на истребитель. Только теперь Алексей почувствовал, что у него выросли крылья. Машина повиновалась малейшему движению руки и ноги. Он ощущал самолёт, как своё тело, как рыба ощущает свой хвост и плавники, и руль поворота, на который он действовал лёгким нажимом ступни на педаль, казалось, был связан нервами с каждой частицей его существа.

Он достигал вражеские самолёты, кружившиеся над псковскими лесами, прижимал их к земле и расстреливал. Ему всегда везло. Однажды пулёмётная струя, пробив фюзеляж, разорвала в клочья и унесла меховые рукавицы, висевшие в кабине; в другой раз осколки снаряда разорвали на плече кожаное пальто.

Но пришёл день, когда разом померкла вся жизнь. Он не дотянул до аэродрома на подбитом моторе и свалился в лес. Восемнадцать суток он бродил по лесу, едва передвигая раненные ноги. Его преследовали галлюцинации: ему казалось, что он видит свой аэродром, товарищей, и он шёл к ним, потом всё исчезало. Он ложился на землю от истощения, снова вставал и снова видел аэродром... Его нашли колхозники, отвезли в деревню, оттуда перебросили на самолёте в Москву, вот в эту клинику, и старик-профессор отрезал ему обе ступни, спасая всё тело.

Но зачем птице жизнь, если у неё обрублены крылья?

Одеяло лежит на остатках ног плоско, как на доске. Сегодня принесут протезы. Это всё, чем

наука в состоянии помочь безному. Он будет ходить. Он может поехать в Камышин и сидеть с удочкой на пристани. Может быть, теперь он снова полюбит землю и Волгу. Он может стать к дизелю мотористом, к токарному станку и прославить себя трудом на земле. Он силён, всё тело его молодо и могуче, его руки в состоянии согнуть железную подкову, но тем тягостней ощущать эту силу. Птица без крыльев умрёт, тоскуя по небу.

«Жить для меня — значит летать», — думал Алексей, и когда товарищи по палате спросили, что он намерен делать, выйдя из клиники, ответил:

— Летать.

Товарищи усмехнулись, приняв это за шутку. Из клиники Алексей вышел на протезах. Он шёл по улице, смешавшись с толпой. Он шагал, не торопясь, как бы гуляя, чуть раскачиваясь и наклоняясь; вынося вперёд ногу, полусогнутую в колене, он ставил её на землю твёрдо и, чувствуя надёжную опору, переносил на неё тяжесть всего тела, ощущая ногой неровности асфальта. Никто не обращал внимания на человека, медленно шагавшего по тротуару, и Алексею было приятно сознавать, что он ничем не выделяется в толпе. Он не знал, что позади идёт старый профессор, наблюдая за каждым его шагом.

— Так... так, — бормотал профессор, опираясь на палку. — У него проснулась мышечная память... — Чудесно! Он чувствует почву... Велико-

лепно! Он ставит ногу смело, доверяя ей. Он не нуждается в палке, в третьей точке опоры... Он хочет пользоваться только своими ногами. Молодец! У этого парня огромная воля... Он верит в себя. Он победит...

Через некоторое время Алексей Петрусьев пришёл «комиссоваться», как говорят раненые, в специальную врачебно-лётную комиссию. Врачи долго молчали, не зная, о чём же можно говорить с лётчиком, у которого ампутированы обе ноги в верхнем окончании третьей части голени.

— Я хочу летать,— сказал Алексей.

— Садитесь, пожалуйста... Ведь вам же трудно стоять,— заботливо проговорил один из врачей, молодой и чувствительный ещё человек, придвигая стул.

— Если я собираюсь летать, то стоять-то я уж могу без всяких скидок на мой недостаток, о котором вы мне напомнили,— сухо проговорил Алексей, продолжая стоять перед столом навытяжку, как полагается офицеру.

— Случай небывалый в нашей практике,— сказал председатель, смущенно потирая руки.— Инструкция говорит ясно на этот счёт... Мы не можем даже обсуждать вашу просьбу...

— Тем более, что у нас достаточно лётчиков, и нет никакой нужды нарушать существующие положения,— присоединился представитель военной авиации.

— Но дело здесь не в том, что вы не нуждаетесь во мне, а в том, что я нуждаюсь в авиации.

Жить я могу только, как лётчик,—проговорил Алексей и, чувствуя, что от волнения начинают дрожать ноги, присел на стул.

Врачи молчали, разглядывая Петрусьева с тем пристальным вниманием, с каким они изучают какую-нибудь редкую аномалию в человеческом организме.

— Желание товарища Петрусьева вернуться в авиацию столь велико, что мы должны подумать, прежде чем вынести свой приговор,—сказал седой врач, которого в комиссии называли Василием Григорьевичем и, видимо, очень прислушались к его мнению.—Ведь речь идёт о жизни человека. Мы, конечно, не можем сейчас решить этот вопрос. Необходимо направить товарища Петрусьева в лётную школу, где проверят, насколько он способен нести службу лётчика. И если окажется, что он не утерял своей квалификации, то главное препятствие отпадёт. Останется формальная сторона. Но мы же не чиновники.

Алексей с благодарностью взглянул на Василия Григорьевича. А через несколько дней он уже сидел в передней кабинке учебного самолёта, а позади него, тревожно поглядывая в спину странного ученика, усаживался лётчик-инструктор. Поднявшись в воздух, инструктор передал управление Петрусьеву, напряженно глядя на его ноги, поставленные на педали. Алексей чувствовал на себе тревожный взгляд инструктора и, вспомнив товарищей по палате, улыбнулся. Он взялся за

ручку, нажал ногой на педаль, и самолёт послушно пошёл вверх с разворотом влево. Он чувствовал педаль, как чувствовал почву под ногами во время ходьбы. Он нажимал ногами то сильнее, то слабей, стараясь запомнить то усилие мускулов, какое достаточно для того, чтобы самолёт выполнил приказание его мозга; и самолёт летел так же уверенно, как и в руках инструктора.

— Хорошо! — крикнул повеселевший инструктор. — Заложи-ка вираж покруче!

Алексей с удовольствием исполнил его просьбу, испытывая наслаждение первого полёта. Его тело как бы проснулось от долгого оцепенения. Ветер полёта бил в разгорячённое лицо. Пьянил запах бензина и горький дымок сгоравшего масла. Стук мотора отдавался в его теле, как стук сердца, и он снова ощутил крылья лёгкого самолёта как продолжение своего тела. А внизу текла земля, и Алексей торжествующе поглядывал вниз, на землю, от которой он был теперь независим.

Ему разрешили летать на учебном самолёте. Петрусьев выполнял обязанности связиста: отвозил пакеты, курьеров, а однажды целый месяц перевозил мороженые бараньи туши из Чистополя в Казань. Пролетая над густыми прикамскими лесами, Петрусьев думал с горькой усмешкой: «Ну вот и добился своего — баранов вожу, как ломовой из мясной лавки...»

Самолёт летел медленно — сто километров больше часа; маленький, весь из дерева и

полотна, слабосильный, он, как воробей, опускался на казанский аэродром, густо уставленный большими и могучими боевыми машинами, и торопливо шмыгал мимо грозных пикировщиков и истребителей в дальний угол аэродрома. Это были самые тяжёлые минуты для Петрусьева. С завистью смотрел он на счастливых людей, поднимавшихся к небу на быстрокрылых истребителях. Он боялся встретиться с кем-нибудь из своих бывших товарищей, которые могли приехать сюда за получением новых машин. И эта встреча произошла, как нарочно, в тот момент, когда однажды Петрусьев приземлился с грузом мороженой баранины.

Мотор заглох как раз против стоянки истребителей. К самолёту подбежало несколько лётчиков и, ухватившись за плоскости, оттащили его в сторону. Один из лётчиков, приглядевшись к Петрусьеву, закричал:

— Братцы, да ведь это Алёшка!!

А через минуту Петрусьева душил в своих объятьях старый приятель Миша Соломин.

— Вот чорт! Ну и встреча! Да как же ты очутился на этом примусе? Что с тобой, Алёшка?! — кричал Соломин возбужденно, громко, на весь аэродром. — Прощтрафился, что-ль?

Петрусьев объяснил.

— А теперь вот баранину вожу, — закончил он с угрюмой улыбкой.

— А что же тебе больше нужно? — удивился Соломин. — Жив... Я бы на твоём месте песни пел.

А я вот получил новый истребитель и опять туда... в пекло! Чую — в последний раз видимся... — Соломин махнул рукой, помолчал и начал перечислять погибших общих знакомых. — Я бы на твоём месте, Алёшка, первым делом женился. Парень ты красивый, за тебя любая пойдёт... Живи во весь дух... И чтоб детей у тебя было много... Эх!.. — Соломин даже зубами скрипнул от какой-то внутренней боли, поспешно пожал руку и побежал к своему самолёту.

С грустью смотрел Петрусьев, как новенький истребитель Соломина выруливал на стартовую дорожку, как с яростным рёвом помчался он, набирая скорость, поднимая за собой облако радужной снежной пыли, и неуловимо оторвавшись от земли, пошел круто вверх. Он давно исчез в облаках, а Петрусьев всё смотрел в небо, — вот так смотрит больной журавль вслед улетающей на юг стае и, бессильно махая подбитым крылом, прыгает по земле в неутешной тоске...

Через некоторое время Алексей Петрусьев явился к Василию Григорьевичу и сказал:

— Летать на учебной машине я не могу больше. Я истребитель, и прошу направить меня в истребительную часть, на фронт.

— На фронт?! Что вы, голубчик? — мягко улыбаясь, сказал Василий Григорьевич тем тоном, каким говорят с капризными детьми. — Там ведь воюют, голубчик... Как можно?! Мы вам уж и так много сделали... Вот и довольны с вас... Живите, летайте...

— Я требую, чтобы меня направили в истребительный полк,—повторил Петрусьев.—Я не хочу и не буду возить мороженных баранов.

— Позвольте, каких баранов?! Мы дали вам возможность летать. Что же вам ещё нужно?

— Воевать! Жить для меня—значит бороться... то-есть делать то дело, в котором участвовала бы вся душа. Послушайте, доктор,—взволнованно продолжал Петрусьев,—вот вы хирург, но если бы вас заставили резать кур для столовой, что вы сказали бы?!

— Н-да-а... Я вас понимаю, конечно,—смущённо пробормотал Василий Григорьевич.—Я поставлю вашу просьбу на обсуждение комиссии.

Петрусьев пришёл на заседание комиссии, готовый к сражению за свою мечту, но Василий Григорьевич сказал ему с улыбкой:

— Однако вы ловко поймали нас. Мы признали за вами право летать, а вы очень логично требуете теперь права на возвращение в армию... Что же с вами поделаешь? Мы пошлём вас на испытание в истребительную часть. И если вы окажетесь пригодным к вождению боевой машины, то уж ваше счастье...

Из части Петрусьев приехал с капитаном, который вывозил его на истребители.

— Замечательно,—сказал капитан, и врачи молча подписали протокол.

В отделе кадров, куда Алексей пришел за назначением в часть, долго разглядывали заключе-

ние комиссии и решили, что тут произошло какое-то недоразумение. Петрусьев сказал, что никакого недоразумения нет, что он лётчик-истребитель и просит направить его на фронт. Ему возражали. Петрусьев настаивал. Он говорил слишком громко, и голос его услышал генерал. Он вышел в приёмную и спросил, в чём дело. Выслушав Алексея, он пригласил его к себе в кабинет и подписал на-
правление в часть.

...На прифронтовом аэродроме кипела горячая работа, и Петрусьев догадался, что готовится крупное дело. Никто не беспокоил его расспросами, всем было некогда, и ему было хорошо среди людей, поглощённых важным и спешным трудом.

— Принимайте шестёрку, — коротко сказал ему командир эскадрильи. — Завтра в бой.

Петрусьев встретил зарю в кабинке истребителя. Как птица, разбуженная рассветом, смотрел он на нежно алую полоску горизонта, возбуждённо насвистывая какую-то мелодию. Прокатился над землёй гул орудий, радостный и торжественный, как первый вешний гром. Потом высоко в небе завывли моторы вражеских самолётов, и этот такой знакомый и такой ненавистный звук сдавил ему виски, и сразу всё потемнело вокруг. Но это было только на одно мгновение. Петрусьев включил мотор, машину встряхнуло, и ветер, поднятый винтом, ударил в лицо, освежая и веселя. Шестёрка побежала по ровному полю, поросшему одуванчиками и ромашкой, прижимая тразы к земле своим грохочущим ветром.

Поднявшись над землёй, Петрусьев подстроился к своему звену, охранявшему журавлиный косяк бомбовозов. Он летел, оглядывая дымящуюся фронтową землю. По шоссе отходили колонны немецких войск, похожие на чёрных гусениц. Бомбовозы сбросили свой груз на них. Бомбы рассекали гусениц на куски, корчившиеся в судорогах. Человеческие фигурки, крохотные, как муравьи, выползали из ям и трещин в земле, бежали, падали, поднимались и снова падали, чтобы никогда не подняться.

Но вот справа в лучах восходящего солнца блеснули вражеские истребители, они мчались, нацеливаясь на строй бомбовозов, и Петрусьев, отдаваясь радостному чувству борьбы, бросил свою машину навстречу врагу.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Сила идеи	3
На тот берег	15
Счастье	25

Редактор Воронова Р. М.
Технический редактор Коновалова Е. К.
Корректор Плотникова В. Я.

Г800345	Подписано в печати 3/IV 1945 г.	Объем 1 $\frac{1}{4}$ п. л.
1,16 уч.-авт. л.	Изд. № 267.	Зак. 44.

Набрано в 1-й типографии Управления Воениздата НКО имени
С. К. Тимошенко. Отпечатано с готовых матриц в тип. „Красное знамя“
Москва, Сущевская, 21. Заказ 838.